Серебряный век

Смешные стихи

Саша Черный. Есенин.
Маяковский. Тэффи



Всемирная литература

Серебряный век. Смешные стихи

Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Александрович Есенин, Надежда Тэффи, Саша Чёрный, Осип Эмильевич Мандельштам, Александр Александрович Блок

Аннотация
Серебряный век: смешные стихи
Алексей Толстой
  Мудрость жизни
Владимир Соловьев
  Отказаться от вина
Владимир Маяковский
  Я счастлив!
  Весна
  Схема смеха
  Военно-морская любовь
  Кто он?
  История Власа, лентяя и лоботряса
  Красавицы
  Сказка о Красной Шапочке
  Кино и вино

Гимн обеду
Гимн ученому
Гимн взятке
Гимн судье
Братья писатели
Последний крик
Сплетник
Интернациональная басня
Даешь изячную жизнь
Неоконченное про школу и про учение
Пиво и социализм
Стих не про дрянь, а про дрянцо
Не увлекайтесь нами
Шутка, похожая на правду
6 Монахинь
Глупая история
Смена убеждений
Ответ на будущие сплетни
Теоретики
Строго воспрещается
Счастье искусств
Критика самокритики
Строки охальные про вакханалии пасхальные
Плюшкин
Лучше тоньше, да лучше
Издевательства

Стабилизация быта
Прекрасная Елена
Журнал «Крысодав»
Ужасающая фамильярность
Товарищ Иванов
О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах
Киноповетрие
Две культуры
Сергей Есенин
Частушки (о поэтах)
Георгий Иванов
Объявления
Саша Черный
Кто?
Стилизованный осел
Детям
Крокодил
Балбес
Пластика
Парижские частушки
Бал в женской гимназии
Волшебник
Европеец
Вешалка дураков
Герой

Интеллигент
Кому что нравится
Анархист
В гостях
Зеркало
Лавочка
С приятелем
Полька
Жалобы обывателя
В редакции «толстого» журнала
Щука
Дурак
Застольная
Летнее удовольствие
Старший брат
Бобина лошадка
Чижик
Обстановочка
Застенчивый таракан
Александр Блок
Впечатления Рейна
«Пойдем купить нарядов и подарков...»
«Права русского исторью...»
Синий крест
Трагедия в одном действии
««Обыкновенная» сегодня в духе...»

«Прикорнувши под горою…»
Правдивая история, или Вот что значит жить за границей!. «Политический» памфлет, запрещенный в России
Андрею Белому
«Если хочешь ты лимону…»
Из Бодлэра
Посвящаются Л. В. Ходскому, Н. И. Кауфману, К. Бальмонту
«Сижу за ширмой. У меня…»
Николай Олейников
Муха
Марина Цветаева
«Макс Волошин первый был…»
Осип Мандельштам
«Свежо раскинулась сирень…»
Яйцо
«Есть разных хитростей у человека много…»
«Это есть мадам Мария…»
«Вуайажор арбуз украл…»
«Вы хотите быть игрушечной…»
«Слышу, слышу ранний лед…»
Газелла
«Спросили раз у воина…»
«Один портной…»
«Случайная небрежность иль ослышка…»

«Шапка, купленная в ГУМе...»
Решенье
«Барон Эмиль хватает нож...»
«Однажды некогда какой-то подполковник...»
«Вполоборота, о, печаль...»
Надежда Тэффи
Четыре инженера
Гаданье
«Мой черный карлик целовал мне ножки...»
«У маменьки своей спросило раз дитя...»
Маленький диалог

Аннотация

Читателю этой книги выпала удивительная возможность познакомиться с лучшими образцами юмористической поэзии Серебряного века. Сегодня смешные стихи могут поддержать, расслабить, заставить посмотреть на мир светлыми глазами. Настоящий сборник подарит читателю не только приятные эмоции, но и позволит лучше понять эпоху и ее порой странных, порой смешных героев.

Серебряный век: смешные стихи

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Алексей Толстой

Мудрость жизни

1

Если хочешь быть майором,
То в сенате не служи,
Если ж служишь, то по шпорам
Не вздыхай и не тужи.

2

Будь доволен долей малой,
Тщись расходов избегать,
Руки мой себе, пожалуй,
Мыла ж на ноги не трать.

3

Будь настойчив в правом споре,
В пустяках уступчив будь,
Жилься докрасна в запоре,
А поноса вспять не нудь.

4

Замарав штаны малиной
Иль продрав их назади,
Их сымать не смей в гостиной,
Но в боскетную поди.

5

Если кто невольным звуком
Огласит твой кабинет,
Ты не вскакивай со стуком,
Восклицая: «Много лет!»

6

Будь всегда душой обеда,
Не брани чужие щи
И из уха у соседа
Дерзко ваты не тащи.

7

Восхищаяся соседкой,
По груди ее не гладь

И не смей ее салфеткой
Потный лоб свой обтирать.

8

От стола коль отлучиться
Повелит тебе нужда,
Тем пред дамами хвалиться
Ты не должен никогда.

9

Коль сосед болит утробой,
Ты его не осуждай,
Но болящему без злобы
Корша ведомость подай.

10

Изучай родню начальства,
Забавлять ее ходи,
Но игривость до нахальства
Никогда не доводи.

11

Не проси у тещи тряпки
Для обтирки сапогов
И не спрашивай у бабки,
Много ль есть у ней зубов?

12

Помни теток именины,
Чти в кузинах благодать
И не вздумай без причины
Их под мышки щекотать.

13

Будь с невестками попроще,
Но приличия блюди
И червей, гуляя в роще,
Им за шею не клади.

14

Не зови за куст умильно
Дочерей на пару слов

И с племянницы насильно
Не тащи ее чулков.

15

На тебя коль смотрят люди,
Не кричи: «Катай-валяй!»
И кормилицыной груди
У дити не отбивай.

16

Всем девицам будь отрада,
Рви в саду для них плоды,
Не показывай им зада
Без особенной нужды.

17

Проводя в деревне лето,
Их своди на скотный двор:
Помогает много это
Расширять их кругозор;

18

Но, желаньем подстрекаем
Их сюрпризом удивить,
Не давай, подлец, быка им
В виде опыта доить.

19

Также было б очень гадко
Перст в кулак себе совать
Под предлогом, что загадка
Им дается отгадать.

20

Вообще знай в шутках меру,
Сохраняй достойный вид,
Как прилично офицеру
И как служба нам велит.

21

Если мать иль дочь какая
У начальника умрет,

Расскажи ему, вздыхая,
Подходящий анекдот;

22

Но смотри, чтоб ловко было,
Не рассказывай, грубя:
Например, что вот кобыла
Также пала у тебя;

23

Или там, что без потерей
Мы на свете не живем
И что надо быть тетерей,
Чтоб печалиться о том;

24

Потому что, если пылок
Твой начальник и сердит,
Проводить тебя в затылок
Он курьеру повелит.

25

Предаваясь чувствам нежным,
Бисер свиньям не мечи —
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.

Владимир Соловьев

Отказаться от вина

Отказаться от вина —
В этом страшная вина;
Смелее пейте, христиане,
Не верьте старой обезьяне.

Владимир Маяковский

Я счастлив!

Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться.
Я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,

как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.
Дни осени —
баней воняют,
а мне
цветут,
извините, —
розы,

и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.

Стал выносли́в
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта —
такой
установился

феерический вкус
в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.

В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный

весельчак и остряк —
ну просто —
душа общества.
Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:

граждане —
я
сегодня —
бросил курить.

Весна

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением.
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели

отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,
что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию

средь ерундовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы́,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на́ ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделываюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,

рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —
меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
во внутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете

мерцающих планет
рассматриваю —
хвост малярийный
или нет?
Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крик:
– Самовар сперли! —
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по васильках и росе.
Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.
Сел
в меланхолии.

В голову
ни строчки
не лезет более.
Два.
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
уснул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка…
«Славное море —
священный Байкал,
Славный корабль —
омулевая бочка».

Схема смеха

Выл ветер и не знал, о ком,
вселяя в сердце дрожь нам.
Путем шла баба с молоком,
шла железнодорожным.

А ровно в семь, по форме,
несясь во весь карьер с Оки,
сверкнув за семафорами, —
взлетает курьерский.

Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя, —
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.

Ушла направо баба,
ушел налево поезд.
Каб не мужик, тогда бы
разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,
мужик и баба скрылись.

Мы дань герою воздадим,
над буднями воскрылясь.

Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!

Да светит солнце в темноте!
Горите, звезды, ночью!
Да здравствуют и те, и те —
и все иные прочие!

Военно-морская любовь

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам

мир в семействе миноносином?

Кто он?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой,
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит —
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
нетронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями;

а в складках блузы
безвременный гроб
нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник
проклеил
и выгрязнил
весь воротник.
Кто мчится,
кто скачет
и брюки ловит,
держащиеся
на честном слове?
Сбежав
от повинностей
скушных и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.
Кто мчится,
кто скачет
резво и яро

по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
куря
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
виденьем крылатым,
трамбуя
встречных
увесистым матом?
Кто мчится,
и едет,
и гонит,
и скачет?
Ответ —
апельсина
яснее и кратче,
ответ

положу
как на блюдце я:
то мчится
наш товарищ докладчик
на диспут:
«Культурная революция».

История Власа, лентяя и лоботряса

Влас Прогулкин —
милый мальчик,
спать ложился,
взяв журнальчик.
Все в журнале
интересно.
– Дочитаю весь,
хоть тресну! —
Ни отец его,
ни мать
не могли
заставить спать.
Засыпает на рассвете,
скомкав
ерзаньем
кровать,
в час,
когда
другие дети

бодро
начали вставать.
Когда
другая детвора
чаевничает, вставши,
отец
орет ему:
– Пора! —
Он —
одеяло на уши.
Разошлись
другие
в школы, —
Влас
у крана
полуголый —
не дремалось в школе чтоб,
моет нос
и мочит лоб.
Без чаю
и без калача
выходит,

еле волочась.
Пошагал
и встал разиней:
вывеска на магазине.
Грамота на то и есть!
Надо
вывеску
прочесть!
Прочел
с начала
буквы он,
выходит:
«Куафер Симон».
С конца прочел
знаток наук, —
«Номис» выходит
«рефаук».
Подумавши
минуток пять,
Прогулкин
двинулся опять.
А тут

на третьем этаже
сияет вывеска —
«Тэжэ».
Прочел.
Пошел.
Минуты с три —
опять застрял
у двух витрин.
Как-никак,
а к школьным зданиям
пришел
с огромным опозданьем.
Дверь на ключ.
Толкнулся Влас —
не пускают Власа
в класс!
Этак ждать
расчета нету.
«Сыграну-ка
я
в монету!»
Проиграв

один пятак,
не оставил дела так...
Словом,
не заметил сам,
как промчались
три часа.
Что же делать —
вывод ясен:
возвратился восвояси!
Пришел в грустях,
чтоб видели
соседи
и родители.
Те
к сыночку:
– Что за вид? —
– Очень голова болит.
Так трещала,
что не мог
даже
высидеть урок!
Прошу

письмо к мучителю,
мучителю-учителю! —
В школу
Влас
письмо отнес
и опять
не кажет нос.
Словом,
вырос этот Влас —
настоящий лоботряс.
Мал
настолько
знаний груз,
что не мог
попасть и в вуз.
Еле взяли,
между прочим,
на завод
чернорабочим.
Ну, а Влас
и на заводе
ту ж историю заводит:

у людей —
работы гул,
у Прогулкина —
прогул.
Словом,
через месяц
он
выгнан был
и сокращен.
С горя
Влас
торчит в пивнушке,
мочит
ус
в бездонной кружке,
и под забором
вроде борова
лежит он,
грязен
и оборван.
Дети,
не будьте

такими, как Влас!
Радостно
книгу возьмите
и – в класс!
Вооружись
учебником-книгой!
С детства
мозги
развивай и двигай!
Помни про школу —
только с ней
станешь
строителем
радостных дней!

Красавицы

(Раздумье на открытии Grand Opéra)

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся.

Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошевéлится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шеншиля.
Платье —

пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки – блещут…
на́ тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы…
голову.

Сказка о Красной Шапочке

Жил был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет – революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

Кино и вино

Сказал
философ из Совкино:
«Родные сестры —
кино и вино.
Хотя
иным
приятней вино,
но в случае
в том и в ином —
я должен
иметь
доход от кино
не меньше
торговца вином».
Не знаю,
кто и что виной
(история эта —
длинна),
но фильмы

уже
догоняют вино
и даже
вреднее вина.
И скоро
будет всякого
от них
тошнить одинаково.

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —

твоих четыреста тысяч».

Гимн ученому

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!

Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы – лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безоб-

разия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

Гимн взятке

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть – разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия – сверху – прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые – коза и зелень.

И нечего доказывать – идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

Гимн судье

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде…
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи – пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий

под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие – колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

Братья писатели

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я, —
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!
Сидите,
глазенки в чашшко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.
Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,

милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.
Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.
Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,

сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.
Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.
Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

Последний крик

О, сколько
женского народу
по магазинам
рыскают
и ищут моду,
просят моду,
последнюю
парижскую.
Стихи поэта
к вам
нежны,
дочки
и мамаши.
Я понимаю —
вам нужны
чулки,
платки,
гамаши.
Склонились

над прилавком ивой,
перебирают
пальцы
платьице,
чтоб очень
было бы
красивое
и чтоб
совсем не очень
тратиться,
Но несмотря
на нежность сильную,
остановлю вас,
тих
и едок:
– Оно
на даму
на субтильную,
для
буржуазных дармоедок.
А с нашей
красотой суровою

костюм
к лицу
не всякий ляжет,
мы
часто
выглядим коровою
в купальных трусиках
на пляже.
Мы выглядим
в атласах —
репою...
Забудьте моду!
К черту вздорную!
Одежду
в Москвошвее
требуй
простую,
легкую,
просторную.
Чтоб Москвошвей
ответил:
«Нате!

Одежду
не найдете проще —
прекрасная
и для занятий,
и для гуляний
с милым
в роще».

Сплетник

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кормом,

он
вприпрыжку,
как коза,
к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
«Ну… —
начнет,
пожавши руки, —
обхохочете живот,
Александр

Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленье!
Быть возне!
Кстати,
вот что —
целый город
говорит,
что раз
во сне...»
Скрыл
губу

ладоней ком,
стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил…
губком…
ультиматум
австралийцам».
Прослюнявив новость
вкупе
с новостишкой
странной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,

нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту

влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».

Интернациональная басня

Петух
однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,
и будет всем обед.
Но это все раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.

Навертывается мораль:
туда же

догу
не пора ль?

Даешь изячную жизнь

Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко —
если
навстречу
особа-кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое понятье,

особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми —
посыплются фраки,
польются фижмы.
Царь
безмятежно
в могилке спит…
Сбит Милюков,
Керенский сбит…
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрачьей.
Отверзаю
поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди и сзади.
Теряются

и отрываются
раз десять на́ день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове
прилизанные волоса,
посредине
пробрита
лысая полоса.
Ноги
давит
узкий хром.
В день

обмозолишься
и станешь хром.
На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются —
работу не трогайте!
Для сморкания —
пальчики,
для виду —
платочек.
Торчит
из карманчика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси —
одни «пардоны»,
одни «мерси».
Чтоб не было
ям
на хилых грудя́х,
ходит,
в петлицу

хризантемы вкрутя.
Изящные улыбки
настолько то́нки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Косится на косицы —
стрельнуть за кем? —
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.
А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
«Мощи» Калинникова.
Таким образом
день оттрудясь,
разденет фигуру,
не мытую отродясь.
Зевнет

и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
тесней, чем в каюте.
И это называется:
– Живем-с в уюте! —
Лозунг:
– В ногах у старья не ползай! —
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество —
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.

Неоконченное про школу и про учение

Что делается
у нас
под школьной корой
алгебр
и геометрий?
Глазам
трудящихся
школу открой,
за лежалых
педагогов
проветри!
Целясь в щеку
злей, чем доги,
взяв
линейки подлиннее,
мордобойцы-педагоги
лупят
посвистом линеек.
Войны классов,

драки партий
обошли
умишкой тощим.
Но...
Каллиников под партой,
провоняли
парту
«Мощи».
Распустив
над порнографией
слюну,
прочитав
похабные тома,
с правой стороны
луну
у себя
устроят по домам.
Опустивши
глазки-кнопки,
боком вертят,
будто утки,
не умнее

средней пробки
подрастают институтки.
Это
видели и раньше
робки
школьницы-молчальницы,
и ступают
генеральшами
пышногрудые начальницы.
У подобных
пастухов
девочки
прочли уже
прейскуранты
всех духов
сочинителя
Тэжэ.
Нам
характер
нужен круче,
чтоб текли
у нас

в трудах дни.
Мы ж
выращиваем курочек
для
семейственных кудахтаний.
Товарищи,
непорядок в дебрях школ,
под сводами
алгебр и геометрий.
Надо
школу
взять за ушко,
промыть
и высушить на ветре.

Пиво и социализм

Блюет напившийся.
Склонился ивой.
Вулканятся кружки,
пену пе́пля.
Над кружками
надпись:
«Раки
и пиво
завода имени Бебеля».
Хорошая шутка!
Недурно сострена́!
Одно обидно
до боли в печени,
что Бебеля нет, —
не видит старина,
какой он
у нас
знаменитый
и увековеченный.

В предвкушении
грядущих
пьяных аварий
вас
показывали б детям,
чтоб каждый вник:
– Вот
король некоронованный
жидких баварий,
знаменитый
марксист-пивник. —
Годок еще
будет
временем слизан —
рассеются
о Бебеле
биографические враки.
Для вас, мол,
Бебель —
«Женщина и социализм»,
а для нас —
пиво и раки.

Жены
работающих
на ближнем заводе
уже
о мужьях
твердят стоусто:
– Ироды!
с Бебелем дружбу водят.
Чтоб этому
Бебелю
было пусто! —
В грязь,
как в лучшую
из кроватных ме́белей,
человек
улегся
под домовьи леса, —
и уже
не говорят про него —
«на-зю-зю-кался»,
а говорят —
«на-бе-бе-лился».

Еще б
водчонку
имени Энгельса,
под
имени Лассаля блины, —
и Маркс
не придумал бы
лучшей доли!
Что вы, товарищи,
бе-белены
объелись,
что ли?
Товарищ,
в мозгах
просьбишку вычекань,
да так,
чтоб не стерлась,
и век прождя:
брось привычку
(глупая привычка!) —
приплетать
ко всему

фамилию вождя.
Думаю,
что надпись
надолго сохраните:
на таких мозгах
она —
как на граните.

Стих не про дрянь, а про дрянцо

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.
Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.

Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.
Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки…
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то

пули
рвут
знаменный шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон

да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.
Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи
очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —

и сам упасусь».
Об этот
быт,
распухший и сальный,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

Не увлекайтесь нами

Если тебе
«корова» имя,
у тебя
должны быть
молоко
и вымя.
А если ты
без молока
и без вымени,
то черта ль в твоем
в коровьем имени!
Это
верно и для художника,
и для поэта.
Есть их работа
и они сами:
с бархатными тужурками,
с поповскими волосами.
А если

только
сидим в кабаке мы,
это носит
названье «богемы».
На длинные патлы,
на звонкое имя
прельстясь,
комсомолец
ныряет пивными.
И вот
в комсомольце
срывается голос,
бубнят в пивных
декадентские дятлы.
И вот
оседает
упрямый волос,
спадают паклей
поповские патлы,
и комсомольская
твердая мысль
течет,

расслюнившись
пивом трехгорным,
и от земли
улетают ввысь
идеализма
глупые вороны.
Если тебе —
комсомолец имя,
имя крепи
делами своими.
А если гниль
подносите вы мне,
то черта ль в самом
звенящем имени!

Шутка, похожая на правду

Скушно Пушкину.
Чугунному ропщется.
Бульвар
хорош
пижонам холостым.
Пушкину
требуется
культурное общество,
а ему
подсунули
Страстной монастырь.
От Пушкина
до «Известий»
шагов двести.
Как раз
ему б
компания была,
но Пушкину
почти

не видать «Известий» —
мешают
писателю
чертовы купола.
Страстной
попирает
акры торцов.
Если бы
кто
чугунного вывел!
Там
товарищ
Степанов-Скворцов
принял бы
и напечатал
в «Красной ниве».
Но между
встал
проклятый Страстной,
все
заслоняет
купол-гру́шина…

А «Красной ниве»
и без Пушкина красно́,
в меру красно
и безмерно скушно.
«Известиям»
тоже
не весело, братцы,
заскучали
от Орешиных и Зозуль.
А как
до настоящего писателя добраться?
Страстной монастырь —
бельмом на глазу.
«Известиям»
Пушкина
Страстной заслонил,
Пушкину
монастырь
заслонил газету,
и оба-два
скучают они,
и кажется

им,
что выхода нету.
Возрадуйтесь,
найден выход
из
положения этого:
снесем Страстной
и выстроим Гиз,
чтоб радовал
зренье поэтово.
Многоэтажься, Гиз,
и из здания
слова
печатные
лей нам,
чтоб радовались
Пушкины
своим изданиям,
роскошным,
удешевленным
и юбилейным.
И «Известиям»

приятна близость.
Лафа!
Резерв товарищам.
Любых
сотрудников
бери из Гиза,
из этого
писательского
резервуарища.
Пускай
по-новому
назовется площадь,
асфальтом расплещется,
и над ней —
страницы
печатные
мысль располощут
от Пушкина
до наших
газетных дней.
В этом
заинтересованы

не только трое,
займитесь стройкой,
зря не временя́,
и это,
увидите,
всех устроит:
и Пушкина,
и Гиз,
и «Известия»…
и меня.

6 Монахинь

Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.
Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,

как в пасху
гофрируют
ножки поросят.
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных

симметричных мест,
где у женщин выпуклость, —
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой – медали
со Львом
и с Пием.
Продрав глазенки
раньше, чем можно, —
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек, —
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,

и ночью, и в утра, и в полдни
сидят
и бормочут,
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулеж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
– Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если

люди вы,
то кто ж
тогда
вороны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюда
не суйся —
все равно:

повесишься с тоски!

Глупая история

В любом учрежденье,
куда ни препожалуйте,
слышен
ладоней скрип:
это
при помощи
рукопожатий
люди
разносят грипп.
Но бацилла
ни одна
не имеет права
лезть
на тебя
без визы Наркомздрава.
И над канцелярией
в простеночной теми
висит
объявление

следующей сути:
«Ввиду
эпидемии
руку
друг другу
зря не суйте».
А под плакатом —
помглавбуха,
робкий, как рябчик,
и вежливей пуха.
Прочел
чиновник
слова плакатца,
решил —
не жать:
на плакат полагаться.
Не умирать же!
И, как мышонок,
заерзал,
шурша
в этажах бумажонок.
И вдруг

начканц
учреждения оного
пришел
какой-то бумаги касательно.
Сует,
сообразно чинам подчиненного,
кому безымянный,
кому
указательный.
Ушла
в исходящий
душа помбуха.
И вдруг
над помбухом
в самое ухо:
– Товарищ...
как вас?
Неважно!
Здрасьте. —
И ручка —
властней,
чем любимая в страсти.

«Рассказывайте
вашей тете,
что вы
и тут
руки не пожмете.
Какой там принцип!
Мы служащие...
мы не принцы».
И палец
затем —
в ладони в обе,
забыв обо всем
и о микробе.
Знаком ли
товарищеский этот
жест вам?
Блаженство!
Назавтра помылся,
но было
поздно.
Помглавбуха —
уже гриппозный.

Суетт
термометр
во все подмышки.
Тридцать восемь,
и даже лишки.
Бедняге
и врач
не помог ничем,
бедняга
в кроватку лег.
Бедняга
сгорел,
как горит
на свече
порхающий мотылек.
Я
в жизни
суровую школу прошел.
Я —
разным условностям
враг.
И жил он,

по-моему,
нехорошо,
и умер —
как дурак.

Смена убеждений

Он шел,
держась
за прутья перил,
сбивался
впотьмах
косоного.
Он шел
и орал
и материл
и в душу,
и в звезды,
и в бога.
Вошел —
и в комнате
водочный дух
от пьяной
перенагрузки,
назвал
мимоходом

«жидами»
двух
самых
отъявленных русских.
Прогромыхав
в ночной тишине,
встряхнув
семейное ложе,
миролюбивой
и тихой жене
скулу
на скулу перемножил.
В буфете
посуду
успев истолочь
(помериться
силами
не с кем!),
пошел
хлестать
любимую дочь
галстуком

пионерским.
Свою
мебелишку
затейливо спутав
в колонну
из стульев
и кресел,
коптилку —
лампадку
достав из-под спуда,
под матерь,
под божью
подвесил.
Со всей
обстановкой
в ударной вражде,
со страстью
льва холостого
сорвал
со стены
портреты вождей
и, кстати,

портрет Толстого.
Билет
профсоюзный
изодран в клочки,
ногою
бушующей
попран,
и в печку
с размаха
летят значки
Осавиахима
и МОПРа.

Уселся,
смирив
возбужденный дух, —
небитой
не явится личности ли?
Потом
свалился,
вымолвив:
«Ух,
проклятые черти,

вычистили!!!»

Ответ на будущие сплетни

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки…
велосипед…
Ну

не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни,
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцирь.
– Купил – говорите?
Конешно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.
Разят

желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот
бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,

и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа

привез «Рено»,
а не духи
и не галстук.

Теоретики

С интеллигентским
обличием редьки
жили
в России
теоретики.
Сидя
под крылышком
папы да мамы,
черепа
нагружали томами.
Понаучив
аксиом
и формул,
надевают
инженерскую форму.
Живут, —
возвышаясь
чиновной дорогою,
машину

перчаткой
изредка трогая.
Достигнув окладов,
работой не ранясь,
наяривает
в преферанс.
А служба что?
Часов потеря.
Мечта
витает
в высоких материях.
И вдруг
в машине
поломка простая, —
профессорские
взъерошит пряди он,
и...
на поломку
ученый,
растаяв,
смотрит так,
как баран на радио.

Ты хочешь
носить
ученое имя —
работу
щупай
руками своими.
На книги
одни —
ученья не тратьте-ка.
Объединись,
теория с практикой!

Строго воспрещается

Погода такая,
что маю впору.
Май —
ерунда.
Настоящее лето.
Радуешься всему:
носильщику,
контролеру
билетов.
Руку
само
подымает перо,
и сердце
вскипает
песенным даром.
В рай
готов
расписать перрон
Краснодара.

Тут бы
запеть
соловью-трелеру.
Настроение —
китайская чайница!
И вдруг
на стене:
– Задавать вопросы
контролеру
строго воспрещается! —
И сразу
сердце за удила́.
Соловьев
камнями с ветки.
А хочется спросить:
– Ну, как дела?
Как здоровьице?
Как детки? —
Прошел я,
глаза
к земле низя́,
только подхихикнул,

ища покровительства.
И хочется задать вопрос,
а нельзя —
еще обидятся:
правительство!

Счастье искусств

Бедный,
бедный Пушкин!
Великосветской тиной
дамам
в холеные ушки
читал
стихи
для гостиной.
Жаль —
губы.
Дам
да вон!
Да в губы
ему бы
да микрофон!

Мусоргский —
бедный, бедный!
Робки
звуки роялишек:

концертный зал
да обеденный
обойдут —
и ни метра дальше.

Бедный,
бедный Герцен!
Слабы
слова красивые.
По радио
колокол-сердце
расплескивать бы
ему
по России!

Человечьей
отсталости
жертвы —
радуйтесь
мысли-громаде!
Вас
из забытых и мертвых
воскрешает

нынче
радио!
Во все
всехсветные лона
и песня
и лозунг текут.
Мы
близки
ушам миллионов —
бразильцу
и эскимосу,
испанцу
и вотяку.
Долой
салонов жилье!
Наш день
прекрасней, чем небыль...
Я счастлив,
что мы
живем
в дни
распеваний по небу.

Критика самокритики

Модою —
объяты все:
и размашисто
и куцо,
словно
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
Но…

стенгазное мычанье...
Где
в рабкоре
толку статься?
Вы
пишите замечания
и пускайте
по инстанциям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурясь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.
Здравым
мыслям
сердце радо.

Но...
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцтого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им
никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,

чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы́
на критическую моду, —
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.
Быть
тебе
в архиве мод —
мода

на самокопанье.
А рабкор?
Рабкор —
смотрите! —
приуныл
и смотрит криво:
от подобных
самокритик
у него
трещит загривок.
Безработные ручища
тычет
зря
в карманы он.
Он —
обдернут,
он —
прочищен,
он зажат
и сокращен.
Лава фраз —
не выплыть вплавь.

Где размашисто,
где куцо,
модный
лозунг
оседлав,
каждый —
самокритикуется.
Граждане,
вы не врите-ка,
что это —
самокритика!
Покамест
точат начальники
демократические лясы,
меж нами
живут молчальники —
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабьи,
бывших
белых

крепнут орды —
рвут,
насилуют
и грабят,
непокорным —
плющат морды.
Молчалиных
кожа
устроена хитро:
плюнут им
в рожу —
рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам,
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж
с крохотным
с нашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покипят,

чтоб снова
дрожать начать.
Эй,
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать!

Строки охальные про вакханалии пасхальные

(Шутка)

Известно:
буржуй вовсю жрет.
Ежедневно по поросенку заправляет в рот.
А надоест свиней в животе пасти —
решает:
– Хорошо б попостить! —
Подают ему к обеду да к ужину
то осетринищу,
то севрюжину.
Попостит —
и снова аппетит является:
буржуй разговляется.
Ублажается куличами башенными
вперекладку с яйцами крашеными.
А в заключение —
шампанский тост:

– Да здравствует, мол, господин Христос! —

А у пролетария стоял столетний пост.

Ел всю жизнь селедкин хвост.

А если и теперь пролетарий говеет —

от говений от этих старьем веет.

Чем ждать Христов в посте и вере —

религиозную рухлядь отбрось гневно

да так заработай —

чтоб, по крайней мере,

разговляться ежедневно.

Мораль для пролетариев выведу любезно:

Не дело говеть бедным.

Если уж и буржую говеть бесполезно,

то пролетарию —

просто вредно.

Плюшкин

Обыватель —
многосортен.
На любые
вкусы
есть.
Даже
можно выдать орден —
всех
сумевшим
перечесть.
Многолики эти люди.
Вот один:
годах и в стах
этот дядя
не забудет,
как
тогда
стоял в хвостах.
Если

Союзу
день затруднел —
близкий
видится
бой ему.
О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
«Что-то
рыпаются в Польше...
надобно,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
накупить
и приобресть.
На товары
голод тяжкий
мне
готовят
битв года.
Посудите,

где ж подтяжки
мне
себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я не сваха.
С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж
тогда мне
чай и сахар
нарисует,
что ли,
АХРР?
Оглядев
товаров россыпь,
в жадности
и в алчи
укупил
двенадцать гроссов
дирижерских палочек.
«Нынче

все
сбесились с жиру.
Глядь —
война чрез пару лет.
Вдруг прикажут —
дирижируй! —
хвать,
а палочек и нет!
И ищи
и там и здесь.
Ничего хорошего!
Я
куплю,
покамест есть,
много
и дешево».
Что же вам
в концертном гвалте?
Вы ж
не Никиш,
а бухгалтер.
«Ничего,

на всякий случай,
все же
с палочками лучше».
Взлетала
о двух революциях весть.
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручною
вшой
копошащийся Плюшкин.

Лучше тоньше, да лучше

Я
не терплю книг:
от книжек
мало толку —
от тех,
которые
дни
проводят,
взобравшись на полку.
Книг
не могу терпеть,
которые
пудом-прессом
начистят
застежек медь,
гордясь
золотым обрезом.
Прячут
в страничную тыщь

бунтующий
времени гул, —
таких
крепостей-книжищ
я
терпеть не могу.
Книга —
та, по-моему,
которая
худощава с лица,
но вложены
в страницы-обоймы
строки
пороха и свинца.
Меня ж
печатать прошу
летучим
дождем
брошюр.

Издевательства

Павлиньим хвостом распущу фантазию
в пестром цикле,
душу во власть отдам рифм
неожиданных рою.
Хочется вновь услыхать,
как с газетных столбцов зацыкали те,
кто у дуба, кормящего их,
корни рылами роют.

Стабилизация быта

После боев
и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.
Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
тих и широк.
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».
С восторга бросив подсолнухи лузгать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
«Готовые блузки.

Последний крик Петровки».
Не зря и Кузнецкий похож на зарю, —
прижав к замерзшей витрине ноздрю,
две дамы расплылись в стончике:
«Ах, какие фестончики!»
А рядом,
учли обывателью натуру, —
портрет
кого-то безусого:
отбирайте гения
для любого гарнитура, —
все
от Казина до Брюсова.
В магазинах —
ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!»
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,

сложивши папки,
жене,
приятной во всех отношениях,
выбирает
«глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
– И мне с таким медведем
поспать бы!
Погрызи меня,
душка Эггерт. —
Сияющий дом,
в костюмах,
в белье, —
радуйся,
растратчик и мот.
«Ателье
мод».
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику

вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Москвошвея»
обещает
«эпоху фрака».
Но,
от смокингов и фраков оберегая
охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки «дудочку».
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот

надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу

дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:
в делах
идеи,
быта,
культуры —
поменьше
довоенных норм!

Прекрасная Елена

(Очень веселая французская оперетка. Этак смеяться приходится редко)

Раз три француза спорить стали.
Спорят день и спорят ночь:
на Руси заголодали,
надо русским, мол, помочь.

Ну и ну, французы эти —
прямо ангелы, точь-в-точь:
забывают все на свете,
лишь бы нищему помочь.

Спор кипит, – от спора в мыле.
Только слышно: «ах» да «ох».
Наконец создать решили
комитет из них из трех.

Ну и ну, сии французы,
буржуа солидных лет,
что-то очень толстопузы —
посмотреть бы их на свет.

Первый По – в огромном чине,
генерал французских войск.
Всех смутьян по сей причине
рад громить и вдрызг и в лоск.

Ну и ну, с французом с этим
«вив» от всей души оря,
не попасть бы снова в сети
их величества царя.

Вот второй. Москве, признаться,
не забыть фигуру сью.
На войне разков в пятнадцать
округлил живот мусью.

Ну и ну, не тешась ложью,
присмотрите за Жиро ж:
вместо помощи Поволжью,
как бы сам не выжрал рожь.

Ну, а третий – Нуланс, значит, —
друг царя и Колчака.
Уж давно по милым плачет
Вечека и Эмчека.

Ну и ну, с таким громилой

дело помощи не сшить.
У французов нрав премилый:
как сумели рассмешить!

Журнал «Крысодав»

Мы

Днем —
благоденствуют дома и домишки:
ни таракана,
ни мышки.
Товарищ,
на этом не успокаивайся очень —
подожди ночи.
При лампе – ничего.
А потушишь ее —
из-за печек,
из-под водопровода
вылазит тараканье
всевозможного рода:
черные,
желтые,
русые —
усатые,

безусые.
Пустяк, что много,
полезут они —
и врассыпную —
только кипятком шпарни.
Но вот,
задремлете лишь,
лезет
из щелок
разная мышь.
Нам
мышь не страшна.
Пусть себе,
в ожидании красной кошки,
ест
понемногу
нэпские крошки.
Наконец,
когда все еще храпом свищет,
из нор
выползают
ручные крысищи.

Сахар попался —
сахар в рот.
Хлеб по дороге —
хлебище жрет.
С этими
не будь чересчур кроткий.
Щеки выгрызут,
вопьются в глотки.
Чтоб на нас
не лезли, как на окорок висячий,
волю зубам крысячьим дав,
для борьбы
с армией крысячьей
учреждаем
«Крысодав».

Ужасающая фамильярность

Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ерзай,
и где ногой ни ступи, —
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского —
переулок или тупик.
Где я?
В Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься? —
Черта в стуле!
не езда, а – наказанье.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен

и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
Даже пса дворняжку
вместо
«Полкаша»
зовут:
«Собака имени Полкан».
«Крем Коллонтай.
Молодит и холит».
«Гребенки Мейерхольд».
«Мочала
а-ля Качалов».
«Гигиенические подтяжки
имени Семашки».
После этого
гуди во все моторы,
наизобретай идей мешок,
все равно —
про Мейерхольда будут

спрашивать:
– «Который?
Это тот, который гребешок?»
Я
к великим
не суюсь в почтеннейшие лики,
Я солдат
в шеренге миллиардной.
Но и я
взываю к вам
от всех великих:
– Милые,
не обращайтесь с ними
фамильярно!

Товарищ Иванов

Товарищ Иванов —
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону —
достоинство складкой.
– Кто спрашивает?
– Товарищ тот —
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него не рот, а торт.

Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого
покраснел бы и дуб, —
Иванов смеется,
смеется, как никто,
хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение —
придет в смятеньице,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьице —
уважаемого
товарища заведующего.

Начальство
одно
смахнут, как пыльцу...
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печенке,
улыбке,
телу.
Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
начальственный вид.
Начальство ласковое —
и он
ласков.
Начальство грубое —

и он грубит.
Увидя безобразие,
не протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.
– Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других? —
Тот —
уволен.
Этот —
сокращен.
Бессменно
одно
Ивановье рыльце.
Везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный

скользким
подхалимским мыльцем.
Впрочем,
написанное
ни для кого не ново
разве нет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
– Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?!

О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной
формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, —
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
– «Пуанкаре терпит фиаско». —

Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
– Слушай, Петь,
с «фиаской» востро держи ухо!
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стиннеса —
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?! —

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,

в уважение к богатству,

скидавая картуз,

его называли —

Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.

Сели.

Читают, газетиной вея.

– О французском наступлении в Руре имеется?

– Да, вот написано:

«Дошли до своего апогея».

– Товарищ Иванов!

Ты ближе.

Эй!

На карту глянь!

Что за место такое:

А-п-о-г-е-й? —

Иванов ищет.

Дело дрянь.

У парня

аж скулу от напряжения свело.

Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть —
Апогея нету!
Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь —
аж дыру провертел в сапоге я —
не могу найти никакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец —
товарищ Петров взял слово:
– Сказано: до своего дошли.
Ведь не до чужого?!
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» – нам не надо. —

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:

то, что годится для иностранного словаря,

газете – не гоже.

Киноповетрие

Европа.
Город.
Глаза домищами шарили.
В глаза —
разноцветные капли.
На столбах,
на версту,
на мильоны ладов:
!!!!! ЧАРЛИ ЧАПЛИН!!!!!
Мятый человечишко
из Лос-Анжело́са
через океаны
раскатывает ролик.
И каждый,
у кого губы́ нашлося,
ржет до изнеможения,
ржет до колик.
Денди туфлястый (огурцами огу́рятся)
—

к черту!
Дамища (груди – стог).
Ужин.
Курица.
В морду курицей.
Мотоцикл.
Толпа.
Сыщик.
Свисток.
В хвост.
В гриву.
В глаз.
В бровь.
Желе-подбородки трясутся игриво.
Кино
гогочет в мильон шиберов.
Молчи, Европа,
дура сквозная!
Мусьи, заткните ваше орло́.
Не вы,
я уверен, —
не вы,

я знаю, —
над вами
смеется товарищ Шарло́.
Жирноживотые.
Лобоузкие.
Европейцы,
на чем у вас пудры пыльца?
Разве
эти
чаплинские усики —
не все,
что у Европы
осталось от лица?
Шарло.
Спадают
штаны-гармошки.
Кок.
Котелочек около кло́ка.
В издевке
твои
комарьи ножки,
Европа фраков

и файфоклоков.
Кино
заливается щиплемой девкой.
Чарли
заехал
какой-то мисс.
Публика, тише!
Над вами издевка.
Европа —
оплюйся,
сядь,
уймись.
Чаплин – валяй,
марай соуса́ми.
Будет:
не соусом,
будет:
не в фильме.
Забитые встанут,
забитые сами
метлою
пройдут

мировыми милями.
А пока —
Мишка,
верти ручку.
Бой! Алло!
Всемирная сенсация.
Последняя штучка.
Шарло на крыльях.
Воздушный Шарло.

Две культуры

Пошел я в гости
(в те года),
не вспомню имя-отчества,
но собиралось
у мадам
культурнейшее общество.
Еда
и поэтам —
вещь нужная.
И я
поэтому
сижу
и ужинаю.
Гляжу,
культурой поражен,
умильно губки сжав.
Никто
не режет
рыб ножом,

никто
не ест с ножа.
Поевши,
душу веселя,
они
одной ногой
разделывали
вензеля,
увлечены тангой.
Потом
внимали с мужеством,
упившись
разных зелий,
романсы
(для замужества!)
двух мадмуазелей.
А после
пучили живот
утробным
низким ржаньем,
слушая,
кто с кем живет

и у кого
на содержании.
Графине
граф
дает манто,
сияет
снег манжет...
Чего еще?
Сплошной бонтон.
Сплошное бламанже.
Гостям вослед
ушли когда
два
заспанных лакея,
вызывается
к мадам
кухарка Пелагея.
«Пелагея,
что такое?
где еще кусок
жаркое?!»
Мадам,

как горилла,
орет,
от гнева розовая:
«Снова
суп переварила,
некультурное рыло,
дура стоеросовая!»
Так,
отдавая дань годам,
поматерив на кухне,
живет
культурная мадам
и с жиру
мордой пухнет.
В Париже
теперь
мадам и родня,
а новый
советский быт
ведет
работницу
к новым дням

от примусов
и от плит.
Культура
у нас —
не роман да балы,
не те
танцевальные пары.
Мы будем
варить
и мыть полы,
но только
совсем не для барынь.
Работа
не знает
ни баб, ни мужчин,
ни белый труд
и не черный.
Ткачихе с ткачом
одинаковый чин
на фабрике
раскрепощенной.
Вглубь, революция!

Нашей стране
другую
дорогу
давая,
расти
голова
другая
на ней,
осмысленная
и трудовая.
Культура
новая,
здравствуй!
Смотри
и Москва и Харьков —
в Советах
правят государством
крестьянка
и кухарка.

Сергей Есенин

Частушки (о поэтах)

Я сидела на песке
У моста высокова.
Нету лучше из стихов
Александра Блокова.

Сделала свистулечку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.

Неспокойная была,
Неспокой оставила.
Успокоили стихи
Кузмина Михаила.

Шел с Орехова туман,
Теперь идет из Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.

Дуют ветры от реки,
Дуют от околицы.

Есть и ситец и парча
У Любови Столицы.

Заливается в углу
Таракан, как пеночка.
Не подумай, что растешь,
Таня Ефименочка.

Ах, сыпь, ах, жарь,
Маяковский – бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.

Пляшет Брюсов по Тверской
Не мышом, а крысиной.
Дяди, дяди, я большой,
Скоро буду с лысиной.

Ах, батюшки, ох-ох-ох,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.

Квас сухарный, квас янтарный,
Бочка старо-новая.
У Васятки у Каменского

Голова дубовая.

Георгий Иванов

Объявления

Ах, как сладко читать объявления
В какой-нибудь столичной газете:
Лучшего средства для усыпления
Не найти на целом свете.

«Ежедневно свежие пирожные…
Большой выбор дешевых граммофонов.
Электричеством болезни накожные
Излечивает доктор Семенов.

Получена японская парфюмерия…
Замечательное средство даром…
В кинематографе необычайная феерия:
Похищение одалиски гусаром.

Молодая дама интересная…
На все за пять рублей готова…
Вдова из себя полновесная
Экономкой хочет быть у пожилого…

«Крем Реформ»… Голова опускается…
«Для мужчин»… Сладко ломит спину…

«Высылаю»... Веки смыкаются,
И глаза уже не видят – «Угрина».

Саша Черный

Кто?

«Ну-ка, дети!

Кто храбрее всех на свете?»

Так и знал – в ответ все хором нараспев:

«Лев!»

– «Лев? ха-ха… легко быть храбрым,

Если лапы шире швабры,

Нет, ни лев, ни слон… храбрее всех малыш —

Мышь!

Сам вчера я видел чудо,

Как мышонок влез на блюдо

И у носа спящей кошки

Не спеша поел все крошки.

Что!»

Стилизованный осел

Голова моя – темный фонарь с перебитыми стеклами,

С четырех сторон открытый враждебным ветрам.

По ночам я шатаюсь с распутными, пьяными Феклами,

По утрам я хожу к докторам.

Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,

Разрази меня гром на четыреста восемь частей!

Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,

И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,

У меня темперамент макаки и нервы, как сталь.

Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется

И вопит: «Не поэзия – шваль!»

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,

Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,

Прыщ с головкой белее несказанно-жженой магнезии,

И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!

Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.

Кто не понял – невежда. К нечистому! Накося – выкуси.

Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу…

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,

Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,

Зарифмую все это для стиля яичными смятками

И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

Детям

Может быть, слыхали все вы – и не раз,
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас:

Уж давным-давно пропели петухи…
А поэт еще в постели.
Днем шагает он без цели,
Ночью пишет все стихи.

Беззаботный и беспечный, как Барбос,
Весел он под каждым кровом,
И играет звонким словом,
И во все сует свой нос.

Он хоть взрослый, но совсем такой, как вы:
Любит сказки, солнце, елки, —
То прилежнее он пчелки,
То ленивее совы.

У него есть белоснежный, резвый конь,

Конь Пегас, рысак крылатый,
И на нем поэт лохматый
Мчится в воду и в огонь…

Ну так вот, – такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовется «Саша Черный»…
Почему? Не знаю сам.

Здесь для вас связал в букет он, как цветы,
Все стихи при свете свечки.
До свиданья, человечки! —
Надо чайник снять с плиты…

Крокодил

Я угрюмый крокодил
И живу в зверинце.
У меня от сквозняка
Ревматизм в мизинце.

Каждый день меня кладут
В длинный бак из цинка,
А под баком на полу
Ставят керосинку.

Хоть немного отойдешь
И попаришь кости...
Плачу, плачу целый день
И дрожу от злости...

На обед дают мне суп
И четыре щуки:
Две к проклятым сторожам
Попадают в руки.

Ах, на нильском берегу
Жил я без печали!

Негры сцапали меня,
С мордой хвост связали.

Я попал на пароход…
Как меня тошнило!
У! Зачем я вылезал
Из родного Нила?..

Эй, ты, мальчик, толстопуз, —
Ближе стань немножко…
Дай кусочек откусить
От румяной ножки!

Балбес

За дебоши, лень и тупость,
За отчаянную глупость
Из гимназии балбеса
Попросили выйти вон...
Рад-радешенек повеса,
Но в семье и плач и стон...
Что с ним делать, ради неба?
Без занятий идиот
За троих съедает хлеба,
Сколько платья издерет!..
Нет в мальчишке вовсе прока —
В свинопасы разве сдать
И для вящего урока
Перед этим отодрать?
Но решает мудрый дядя,
Полный в будущее веры,
На балбеса нежно глядя:
«Отдавайте в... офицеры...
Рост высокий, лоб покатый,

Пусть оденется в мундир —
Много кантов, много ваты,
Будет бравый командир!»

Про подобные примеры
Слышим чуть не каждый час.
Оттого-то офицеры
Есть прекрасные у нас...

Пластика

Из палатки вышла дева
В васильковой нежной тоге,
Подошла к воде, как кошка,
Омочила томно ноги
И медлительным движеньем
Тогу сбросила на гравий, —
Я не видел в мире жеста
Грациозней и лукавей!

Описать ее фигуру —
Надо б красок сорок ведер…
Даже чайки изумились
Форме рук ее и бедер…
Человеку же казалось,
Будто пьяный фавн украдкой
Водит медленно по сердцу
Теплой бархатной перчаткой.

Наблюдая хладнокровно
Сквозь камыш за этим дивом,

Я затягивался трубкой
В размышлении ленивом:
Пляж безлюден, как Сахара, —
Для кого ж сие творенье
Принимает в море позы
Высочайшего давленья?

И ответило мне солнце:
«Ты дурак! В яру безвестном
Мальва цвет свой раскрывает
С бескорыстием чудесным…
В этой щедрости извечной
Смысл божественного свитка…
Так и девушки, мой милый,
Грациозны от избытка».

Я зевнул и усмехнулся…
Так и есть: из-за палатки
Вышел хлыщ в трико гранатном,
Вскинул острые лопатки.
И ему навстречу дева
Приняла такую позу,
Что из трубки, поперхнувшись,

Я глотнул двойную дозу...

Парижские частушки

Эх ты, кризис, чертов кризис!
Подвело совсем нутро…
Пятый раз даю я Мишке
На обратное метро.

Дождик прыщет, ветер свищет,
Разогнал всех воробьев…
Не пойти ли мне на лекцию
«Любовь у муравьев»?

Разоделась я по моде,
Получила первый приз:
Сверху вырезала спину
И пришила шлейфом вниз.

Сена рвется, как кобыла,
Наводненье до перил…
Не на то я борщ варила,
Чтоб к соседке ты ходил!

Трудно, трудно над Монмартром
В небе звезды сосчитать,

А еще труднее утром
По будильнику вставать!..

У меня ли под Парижем
В восемь метров чернозем:
Два под брюкву, два под клюкву,
Два под садик, два под дом.

Мой сосед, как ландыш, скромен,
Чтобы черт его побрал!
Сколько раз мне брил затылок,
Хоть бы раз поцеловал...

Продала тюфяк я нынче;
Эх ты, голая кровать!
На «Записках современных»
Очень жестко будет спать.

Мне шофер в любви открылся —
Трезвый, вежливый, не мот.
Час катал меня вдоль Сены —
За бензин представил счет.

Для чего позвали в гости
В симпатичную семью?
Сами, черти, сели в покер,

А я чай холодный пью.

Я в газетах прочитала:
Ищут мамку в Данию.
Я б потрафила, пожалуй,
Кабы знать заранее…

Посулил ты мне чулки —
В ручки я захлопала…
А принес, подлец, носки,
Чтоб я их заштопала.

В фильме месяц я играла —
Лаяла собакою…
А теперь мне повышенье:
Лягушонком квакаю.

Ни гвоздей да ни ажанов,
Плас Конкорд – как океан…
Испужалась, села наземь,
Аксидан так аксидан!

Нет ни снега, нет ни санок,
Без зимы мне свет не мил.
Хоть бы ты меня мороженым,
Мой сокол, угостил…

Милый год живет в Париже —
Понабрался лоску:
Всегда вилку вытирает
Об свою прическу.

На камине восемь килек —
День рожденья, так сказать…
Кто придет девятым в гости,
Может спичку пососать…

Пароход ревет белугой,
Башня Эйфеля в чаду…
Кто меня бы мисс Калугой
Выбрал в нонешнем году!

Бал в женской гимназии

1

Пехотный Вологодский полк
Прислал наряд оркестра.
Сыч-капельмейстер, сивый волк,
Был опытный маэстро.
Собрались рядом с залой в класс,
Чтоб рокот труб был глуше.
Курлыкнул хрипло медный бас,
Насторожились уши.
Басы сверкнули вдоль стены,
Кларнеты к флейтам сели, —
И вот над мигом тишины
Вальс томно вывел трели…
Качаясь, плавные лады
Вплывают в зал лучистый,
И фей коричневых ряды
Взметнули гимназисты.
Напев сжал юность в зыбкий плен,

Что в мире вальса краше?
Пусть там сморкаются у стен
Папаши и мамаши...
Не вся ли жизнь – хмельной поток
Над райской панорамой?
Поручик Жмых пронесся вбок
С расцветшей классной дамой.
У двери встал, как сталактит,
Блестя иконостасом,
Сам губернатор Фан-дер-Флит
С директором Очкасом:
Директор – пресный, бритый факт,
Гость – холодней сугроба,
Но правой ножкой тайно в такт
Подрыгивают оба.
В простенке – бледный гимназист,
Немой Монблан презренья.
Мундир до пяток, стан, как хлыст,
А в сердце – лава мщенья.
Он презирает потолок,
Оркестр, паркет и люстры,
И рот кривится поперек

Усмешкой Заратустры.
Мотив презренья стар, как мир…
Вся жизнь в тумане сером:
Его коричневый кумир
Танцует с офицером!

2

Антракт. Гудящий коридор,
Как улей, полон гула.
Напрасно классных дам дозор
Скользит чредой сутулой.
Любовь влетает из окна
С кустов ночной сирени,
И в каждой паре глаз весна
Поет романс весенний.
Вот даже эти, там и тут,
Совсем еще девчонки,
Ровесников глазами жгут
И теребят юбчонки.
Но третьеклассники мудрей,
У них одна лишь радость:
Сбежать под лестницу скорей

И накуриться в сладость…
Солдаты в классе, развалясь,
Жуют тартинки с мясом;
Усатый унтер спит, склонясь
Над геликоном-басом.
Румяный карлик-кларнетист
Слюну сквозь клапан цедит.
У двери – бледный гимназист
И розовая леди.
«Увы! У женщин нет стыда…
Продать за шпоры душу!»
Она, смеясь, спросила: «Да?»,
Вонзая зубы в грушу…
О, как прелестен милый рот
Любимой гимназистки,
Когда она, шаля, грызет
Огрызок зубочистки!
В ревнивой муке смотрит в пол
Отелло-проповедник,
А леди оперлась на стол,
Скосив глаза в передник.
Не видит? Глупый падишах!

Дразнить слепцов приятно.
Зачем же жалость на щеках
Зажгла пожаром пятна?
Но синих глаз не укротить,
И сердце длит причуду:
«Куда ты?» – «К шпорам». —
«Что за прыть?» —
«Отстань! Хочу и буду».

3

Гремит мазурка – вся призыв.
На люстрах пляшут бусы.
Как пристяжные, лбы склонив,
Летит народ безусый.
А гимназистки-мотыльки,
Откинув ручки влево,
Как одуванчики легки,
Плывут под плеск напева.
В передней паре дирижер,
Поручик Грум-Борковский,
Вперед плечом, под рокот шпор
Беснуется чертовски.

С размаху на колено встав,
Вокруг обводит леди
И вдруг, взметнувшись, как удав,
Летит, краснее меди.
Ресницы долу опустив,
Она струится рядом,
Вся – огнедышащий порыв
С лукаво-скромным взглядом…
О ревность, раненая лань!
О ревность, тигр грызущий!
За борт мундира сунув длань,
Бледнеет классик пуще.
На гордый взгляд – какой цинизм! —
Она, смеясь, кивнула…
Юнец, кляня милитаризм,
Сжал в гневе спинку стула.
Домой?.. Но дома стук часов,
Белинский над кроватью,
И бред полночных голосов,
И гул в висках… Проклятье!
Сжав губы, строгий, словно Дант,
Выходит он из залы.

Он не армейский адъютант,
Чтоб к ней идти в вассалы!..
Вдоль коридора лунный дым
И пар неясных пятна,
Но пепиньерки мчатся к ним
И гонят в зал обратно.
Ушел бедняк в пустынный класс,
На парту сел, вздыхая,
И, злясь, курил там целый час
Под картою Китая.

4

С Дуняшей, горничной, домой
Летит она, болтая.
За ней вдоль стен, укрытых тьмой,
Крадется тень худая…
На сердце легче: офицер
Остался, видно, с носом.
Вон он, гремя, нырнул за сквер
Нахмуренным барбосом.
Передник белый в лунной мгле
Змеится из-под шали.

И слаще арфы – по земле
Шаги ее звучали…
Смешно! Она косится вбок
На мрачного Отелло.
Позвать? Ни-ни. Глупцу – урок,
Ей это надоело!
Дуняша, юбками пыля,
Склонясь, в ладонь хохочет,
А вдоль бульвара тополя
Вздымают ветви к ночи.
Над садом – перья зыбких туч.
Сирень исходит ядом.
Сейчас в парадной щелкнет ключ,
И скорбь забьет каскадом…
Не он ли для нее вчера
Выпиливал подчасник?
Нагнать? Но тверже топора
Угрюмый восьмиклассник:
В глазах – мазурка, адъютант,
Вертящиеся штрипки,
И разлетающийся бант,
И ложь ее улыбки…

Пришли. Крыльцо – как темный гроб,
Как вечный склеп разлуки.
Прижав к забору жаркий лоб,
Сжимает классик руки.
Рычит замок, жестокий зверь,
В груди – тупое жало.
И вдруг… толкнув Дуняшу в дверь,
Она с крыльца сбежала.
Мерцали блики лунных струй
И ширились все больше.
Минуту длился поцелуй!
(А может быть, и дольше).

Волшебник

«Я сейчас, дядя Саша, – хотите? —
Превращу вас в кота...
Вы рукав своей куртки ловите
Вместо хвоста,
И тихонько урчите, —
Потому что вы кот,
И, зажмурив глазки, лижите
Свой пушистый живот...
Я поставлю вам на пол блюдце
С молоком, —
Надо, дядя, вот так изогнуться
И лакать языком.
А потом я возьму вас в охапку,
Вы завьетесь в клубок, как удав, —
Оботру я усы вам тряпкой,
И вы скажете: «Мяв!»

А кота, настоящего Пышку,
Превращу я – хотите? – в вас.
Пусть, уткнувшись мордою в книжку,

Просидит целый час...
Пусть походит по комнатам вяло,
Ткнется рыльцем в стекло
И, присев к столу, из бокала
Вынет лапкой стило...
Сам себе язык он покажет,
Покачается, как пароход, —
А потом он кляксу размажет,
Папироску в угол швырнет
И, ко мне повернувшись, скажет:
„Не бурчи, бегемот!..“»

Но в ответ на мальчишкины бредни
Проворчал я: «Постой!..
Я и сам колдун не последний, —
Погоди, золотой!
За такое твое поведенье
Наступлю я тебе на мозоль:
Вот сейчас рассержусь – и в мгновенье
Превращу тебя в моль...
Над бокалом завьешься ты мошкой —
Перелет, пируэт, —
Вмиг тебя я прихлопну ладошкой,

И, ау, – тебя нет!
Кот лениво слижет с ладони
Бледно-желтую пыль
И раскинет живот на балконе,
Вскинув хвост, как ковыль...»

Ты надулся: «Какой вы несносный!
Я за это...» Ты топнул и встал:
«Превращу я вас в дым папиросный...»
Но, смеясь, я сказал: «Опоздал!»

Европеец

В трамвае, набитом битком, —
Средь двух гимназисток, бочком,
Сижу в настроенье прекрасном.

Панама сползает на лоб.
Я – адски пленительный сноб
В накидке и в галстуке красном.

Пассаж не спеша осмотрев,
Вхожу к «Доминику», как лев,
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем
Сосиски в томате и крем,
Пулярку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной…
Сановный швейцар предо мной
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,
И руки в штаны заложив,
Сижу в Александровском сквере.

Где б вечер сегодня убить?
В «Аквариум», что ли, сходить?
Иль, может быть, к Мэри слетаю?

В раздумье на мамок смотрю,
Вздыхаю, зеваю, курю

И «Новое время» читаю…
Шварц, Персия, Турция… Чушь!
Разносчик! Десяточек груш…
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов
На службу явиться готов,
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.
Пойду-ка к «Медведю» поесть,
А после – за галстуком к Кнопу.

Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?

Вешалка дураков

1

Раз двое третьего рассматривали в лупы
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том,
Что тот, кого они признали дураком,
Был умницей, – они же были глупы.

2

«Кто этот, лгущий так туманно,
Неискренно, шаблонно и пространно?»
– «Известный мистик N, большой чудак».
– «Ах, мистик? Так… Я полагал – дурак».

3

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.

Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче – ах, злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

4

Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину
И начал: «Живопись свежа…
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично».
(Бедняк скрывал сильней всего,
Что он не понял ничего).

5

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
«Не затем ли жизнь тосклива,
И бесцветна, и дика,

Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?»
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
«Он считает только тех,
Кто его еще глупее, —
«Слишком много» для него…
Ну, а мне-то каково?»

6

Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ, —
С двух первых слов Сократ глупеет!

7

Пусть свистнет рак,
Пусть рыба запоет,
Пусть манна льет с небес, —
Но пусть дурак
Себя в себе найдет —

Вот чудо из чудес!

Герой

На ватном бюсте пуговки горят,
Обтянут зад цветной диагональю,
Усы как два хвоста у жеребят,
И ляжки движутся развалистой спиралью.

Рукой небрежной упираясь в талью,
Вперяет вдаль надменно-плоский взгляд
И, всех иных считая мелкой швалью,
Несложно пыжится от головы до пят.

Галантный дух помады и ремней…
Под козырьком всего четыре слова:
«Pardon!», «Mersi!», «Канашка!» и «Мерзавец!».

Грядет, грядет! По выступам камней
Свирепо хляпает тяжелая подкова —
Пар из ноздрей… Ура, ура! Красавец.

Интеллигент

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодьем интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.

За окном непогода лютеет и злится...
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится
Всем, кто бледной усталостью пьян.

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету,
Отчего ты так страшно и тупо

устал?

За несбыточным счастьем гонялся по свету,

Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот. Разомкнулись тяжелые вежды,

Монотонные звуки уныло текут:

«Брат! Одну за другой хоронил я надежды,

Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты

И неполных желаний шальной хоровод.

Я жених непришедшей прекрасной невесты,

Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря все громче стучалась в окошко.

Билась мысль, разгораясь и снова таясь.

И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:

«Брат! Подвинься немножко».

Кому что нравится

«Эй, смотри – у речки
Сняли кожу человечки!» —
Крикнул чижик молодой.
Подлетел и сел на вышке, —
Смотрит: голые детишки
С визгом плещутся водой.

Чижик клюв раскрыл в волненьи,
Чижик полон удивленья:
«Ай, какая детвора!
Ноги – длинные болталки,
Вместо крылышек – две палки,
Нет ни пуха, ни пера!»

Из-за ивы смотрит заяц
И качает, как китаец,
Удивленной головой:
«Вот умора! Вот потеха!
Нет ни хвостика, ни меха…
Двадцать пальцев! Боже мой…»

А карась в осоке слышит,
Глазки выпучил и дышит:
«Глупый заяц, глупый чиж!..
Мех и пух, скажи, пожалуй...
Вот чешуйки б не мешало!
Без чешуйки, брат, шалишь!»

Анархист

Жил на свете анархист,
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови
И, багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежа и дурак».

В гостях

(Петербург)

Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку),
На стене босой Толстой.
Добросовестно скучаю
И зеленую тоску
Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись – а не поймешь!
А хозяйка с томной негой,
Устремив на лампу взор,
Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка?»
– «Да. Спасибо, прочитал...»
– «О, какая красота!»
И хозяйкина ботинка
Взволновалась, словно в шквал.

Лжет ботинка, лгут уста…

У рояля дочь в реформе,
Взяв рассеянно аккорд,
Стилизованно молчит.
Старичок в военной форме
Прежде всех побил рекорд —
За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке
Жмет мне ногу под столом.
Я страдаю и терплю.
Инженер зудит на скрипке.
Примирясь и с этим злом,
Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?
Ну-ка, опыт, выручай!
«Попрошу… еще стакан»…
Ем вчерашнее жаркое,
Кротко пью холодный чай
И молчу, как истукан.

Зеркало

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг-читатель
Над скучнейшею газетой.

Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах и в экспрессе,
И в отдельном кабинете.

Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил…

Каждый день, впиваясь в строчки,
Он глупеет и умнеет:
Если автор глуп – глупеет,
Если умница – умнеет.

Но порою друг-читатель
Головой мотает злобно

И ругает, как извозчик,
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад
И испанские газеты...»
(Кстати – он силен в испанском,
Как испанская корова.)

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь – в нем зловеще меркнет
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель,
Современные газеты...

Лавочка

– К нам, к нам!
Вот свежий мадаполам,
Соска для медвежонка,
Бритва для вашего ребенка,
Самые модные сосиски
И кукольные зубочистки…
– Барыня-сударыня!
Не торгуйтесь, ей-богу…
У нас такие налоги.
Корсет – три франка.
Вы – южная американка?
Уступаю за шесть.
Мишка, заверни покупку…
Предложи ей присесть,
Поправь ей юбку,
Подвинь плевательницу, —
Она выгодная покупательница.

– Халву руками не трогать!
Покажите ваш ноготь…

Большой – и делает гадости,
Лезет лапами в сладости…
Угодно морской монокль?
Заменяет бинокль.
Примерьте за ширмой.
Раскройте глаз: Как раз!
Модно и просто
И вполне для вашего роста.

– Ма-ма! Дядя Карпуша
Съел даром две груши…
Дай ему по рукам…
Срам!
– Здравствуйте, мальчик…
Это китайский пенальчик
Для собирания мух,
Это копилка-петух, —
Не бьется, не рвется!
Глупый! Смеется…
Ах, так! Недоверие…
Мишка, встань на прилавок, —
Покажи ему новую серию
Детских слюнявок.

С приятелем

Мой приятель, мальчик Вова,
Ходит-бродит у дверей…
«Что вы пишете?» – «Балладу».
«Так кончайте ж поскорей!»

Кончил. Тиснул промокашкой.
Перевел блаженно дух…
Вова в дверь. Стал лихо в позу, —
Не мальчишка, а петух.

Я сижу спокойно в кресле,
А взбесившийся боксер
Лупит в бок меня и в локоть, —
Сбросил книжку на ковер…

Только мне ничуть не больно.
«Бей сильнее, пустяки!
Отчего ж ты, милый, дуешь
На свои же кулаки?»

И обиженный мальчишка
Сел, как клецка, на кровать.

«Потому что надо драться,
А не локти подставлять».

Драться? Что ж… Сдвигаю брови,
Как свирепый Голиаф…
Поперек схватил мальчишку,
Размахнулся – и на шкаф.

Посиди… Остынь немножко,
Полижи, дружок, карниз.
Через пять минут он сдался:
Попросился кротко вниз.

«Прочитайте мне балладу…»
«Что ж в жару стихи читать…
Лучше сбегай ты на кухню, —
Будем пьянствовать опять».

Вовка тащит воду, сахар,
Выжималку и лимон.
За окном платан смеется,
Кошка вышла на балкон.

«За твое здоровье, кошка!»
Вовка фыркает в кулак
И лукаво морщит носик:

«Дядя Саша, вы чудак...»

Полька

В среду были именины
Молодого паука.
Он смотрел из паутины
И поглаживал бока.
Рим-тим-тим!
Слез по шторе,
Гости в сборе?
Начинай!

Таракан играл на скрипке,
А сверчок на контрабасе,
Две блохи, надевши штрипки,
Танцевали на матрасе.
Рим-тим-тим!
Вот так штука...
Ну-ка, ну-ка,
Жарь вовсю!

Мышь светила им огарком,
Муха чистила свой рот.

Было очень-очень жарко,
Так, что с блох катился пот.
Рим-тим-тим!
Па – направо,
Браво-браво,
Браво-бис!..

Угощались жирной костью
За печуркою в трубе,
А паук съел муху-гостью
И опять полез к себе.
Рим-тим-тим!
Гости плачут,
Блохи скачут —
Наплевать!

Жалобы обывателя

Моя жена – наседка,
Мой сын, увы, – эсер,
Моя сестра – кадетка,
Мой дворник – старовер.

Кухарка – монархистка,
Аристократ – свояк,
Мамаша – анархистка,
А я – я просто так…

Дочурка-гимназистка
(Всего ей десять лет)
И та социалистка —
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета
Сойдутся и визжат —
Но мне комедья эта,
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!»
Сынок кричит: «Снесем!»

Свояк вопит: «Натравим!»
А дворник – «Донесем!»

А милая супруга,
Иссохшая, как тень,
Вздыхает, как белуга,
И стонет: «Ах, мигрень!»

Молю Тебя, Создатель
(Совсем я не шучу),
Я русский обыватель —
Я просто жить хочу!

Уйми мою мамашу,
Уйми родную мать —
Не в силах эту кашу
Один я расхлебать.

Она, как анархистка,
Всегда сама начнет,
За нею гимназистка
И весь домашний скот.

Сестра кричит: «Устроим!»
Свояк вопит: «Плевать!»
Сынок шипит: «Накроем!»

А я кричу: «Молчать!!»

Проклятья посылаю
Родному очагу
И втайне замышляю —
В Америку сбегу!..

В редакции «толстого» журнала

Серьезных лиц густая волосатость
И двухпудовые свинцовые слова:
«Позитивизм», «идейная предвзятость»,
«Спецификация», «реальные права»...

Жестикулируя, бурля и споря,
Киты редакции не видят двух персон:
Поэт принес «Ночную песню моря»,
А беллетрист – «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула
И кверх ногами развернул журнал,
А беллетрист покорно и сутуло
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай... Поэт взял два стакана,
А беллетрист не взял ни одного.
В волнах серьезного табачного тумана
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»
Поэт и сам давно искал ответа:
«Судя по галстуку, похоже, что поэт»...

Подходит некто в сером, но по моде,
И говорит поэту: «Плач земли?..»
– «Нет, я вам дал три «Песни о восходе».
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:
Он думал из «Восходов» сшить штаны!
«Вот здесь еще «Ночная песня моря»,
А здесь – «Дыханье северной весны».

– «Не надо, – отвечает некто в сером: —
У нас лежат сто весен и морей».
Душа поэта затянулась флером,
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:

«Я год назад прислал "Ее любовь"».
Ответили, пошаривши в конторке:
«Затеряна. Перепишите вновь».

– «А вот, не надо ль? – беллетрист запнулся. —
Здесь... семь листов – "Последний детский сон"»,
Но некто в сером круто обернулся —
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,
Он, разумеется, беднягу не узнал
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:
«Не принято! Ведь я уже сказал!..»

На улице сморкался дождь слюнявый.
Смеркалось... Ветер. Тусклый дальний гул.
Поэт с «Ночною песней» взял направо,
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.
Два жемчуга опять на мостовой...
Ах, может быть, поэт был новый Пуш-

кин,
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!
Пускай не продают души в рассрочку,
Пускай душа их без штанов парит...

Щука

С Александром Куприным
(Знаменитым рыболовом!)
По пруду скользим, как дым,
Под наметом тополевым.
Я вздымаюсь на носу
И веслом каскады рою,
Он, зажав в руке лесу,
На корме сидит с блесною.
Сердце, – бешеный комок, —
Отбивает: щука-щука!
Оплываем островок,
На корме, увы, ни звука…
Только ивы шелестят,
Запрокинув в воду шапки,
Только кролики глядят,
В изумленье встав на лапки.
Вдруг, взглянув из-за плеча,
Я застыл и крякнул… Ловко!
Александр Куприн, рыча,

Из воды сучит бечевку…
Кровожадные глаза
Полны трепетного мрака:
– Напоролась, егоза!
Не уйдешь… Шалишь, собака! —
Тянет, тянет. Нелегко.
Пузырем вскипает влага:
Распластавшись глубоко,
На крючке висит… коряга.

Дурак

Под липой пение ос,
Юная мать, пышная мать
В короне из желтых волос,
С глазами святой,
Пришла в тени почитать —
Но книжка в крапиве густой…

Трехлетняя дочь
Упрямо
Тянет чужого верзилу: «Прочь!
Не смей целовать мою маму!»
Семиклассник не слышит,
Прилип, как полип,
Тонет, трясется и пышет.
В смущеньи и гневе
Мать наклонилась за книжкой:
«Мальчишка!
При Еве!»
Встала, поправила складку
И дочке дала шоколадку.

Сладостен первый капкан!
Три блаженных недели,
Скрывая от всех, как артист,
Носил гимназист в проснувшемся теле
Эдем и вулкан.
Не веря губам и зубам,
До боли счастливый,
Впивался при лунном разливе
В полные губы…

Гигантские трубы,
Ликуя, звенели в висках,
Сердце в горячих тисках,
Толкаясь о складки тужурки,
Играло с хозяином в жмурки, —
Но ясно и чисто
Горели глаза гимназиста.

Вот и развязка:
Юная мать, пышная мать
Садится с дочкой в коляску —
Уезжает к какому-то мужу.
Склонилась мучительно-близко,

В глазах улыбка и стужа,
Из ладони белеет наружу —

Записка!
Под крышей, пластом,
Семиклассник лежит на диване
Вниз животом.
В тумане,
Пунцовый, как мак,
Читает в шестнадцатый раз
Одинокое слово: «Дурак!»
И искры сверкают из глаз
Решительно, гордо и грозно.
Но поздно...

Застольная

В эту ночь оставим книги,
Сдвинем стулья в крепкий круг,
Пусть, звеня, проходят миги,
Пусть беспечность вспыхнет вдруг!
Пусть хоть в шутку,
На минутку
Каждый будет лучший друг.

Кто играет – вот гитара!
Кто поет – очнись и пой!
От безмолвного угара —
Огорчительный запой.
Пой мажорно,
Как валторна,
Подвывайте все толпой.

Мы, ей-богу, не желали,
Чтобы в этот волчий век
Нас в России нарожали
Для прокладки лбом просек…

Выбьем пробки!
Кто не робкий —
Пей, как голый древний грек!

Век и год забудем сразу,
Будем пьяны вне времен,
Гнев и горечь, как заразу,
Отметем далеко вон.
Пойте, пейте,
Пламенейте,
Хмурый – падаль для ворон!

Притупилась боль и жало,
Спит в тумане Млечный Путь…
Сердцу нашему, пожалуй,
Тоже надо отдохнуть —
Гимн веселью!
Пусть с похмелья
Завтра жабы лезут в грудь…

Други, в пьяной карусели
Исчезают верх и низ….
Кто сейчас, сорвавшись с мели,
Связно крикнет свой девиз?

В воду трезвых,
Бесполезных,
Подрывающих акциз!

В Шуе, в мае, возле сваи
Трезвый сыч с тоски подох,
А другой пьет ром в Валдае —
И беспечно ловит блох.
Смысл сей притчи:
Пейте прытче,
Все, кто до смерти засох!

За окном под небосводом
Мертвый холод, свист и мгла…
Вейтесь быстрым хороводом
Вкруг философа-стола!
Будем пьяны!
Вверх стаканы.
С пьяных взятки, как с козла…

Летнее удовольствие

Чуть к тетради склонишь ухо
И уткнешь в бумагу взор —
Над щекой взовьется муха
И гундосит, как мотор…

Сорок раз взмахнешь рукою,
Сорок раз она взлетит
И упорно – нет покою! —
Над ресницею жужжит.

Рядом блюдечко с вареньем…
Почему же, почему
Это глупое творенье
Лезет к носу моему?!

Дети, спрашиваю вас:
Неужели так я лаком?
Разве нос мой – ананас?
Разве щеки – пышки с маком?

Хлопнул в глаз себя и в ухо…
И не пробуй… Не поймать!

Торжествуй, злодейка муха, —
Я закрыл свою тетрадь…

Старший брат

Митя, любимец мамин,
Конкурсный держит экзамен.
Пальцы у него похудели,
Глаза запрятались в щели…
На столе – геометрия,
На полу – тригонометрия,
На кровати – алгебра, химия
И прочая алхимия.
Сел он носом к стене,
Протирает пенсне
И зубрит до одурения.
Мама в ужасном волнении:
«Митя! Ты высох, как мумия, —
Это безумие…
Съешь кусочек пирожка,
Выпей стакан молочка!»
Митя уходит в сад,
Зубрит и ходит вперед и назад.
Мама, вздохнув глубоко,

Несет за ним молоко,
Но Митя тверже гранита —
Обернулся сердито
И фыркнул, косясь на герань:
«Мама! Отстань!..»

Бобина лошадка

Мальчик Боб своей лошадке
Дал кусочек шоколадки, —
А она закрыла рот,
Шоколадки не берет.

Как тут быть? Подпрыгнул Бобик,
Сам себя вдруг хлопнул в лобик,
И с комода у дверей
Тащит ножницы скорей.

Распорол брюшко лошадке,
Всунул ломтик шоколадки
И запел: «Не хочешь в рот,
Положу тебе в живот!»

Боб ушел играть в пятнашки,
А за полкой таракашки
Подсмотрели и гуськом
Вмиг к лошадке все бегом.

Подобрались к шоколадке
И лизнули: «Очень сладко!»

Пир горой – и в пять минут
Шоколадке был капут.

Вот приходит Боб с прогулки,
Таракашки шмыг к шкатулке —
Боб к лошадке: «Съела… ай!
Завтра дам еще – будь пай!»

День за днем – как две недели —
Мальчик Боб, вскочив с постели,
Клал в живот ей шоколад,
А потом шел прыгать в сад.

Лошадь кушала, старалась,
Только кошка удивлялась:
«Отчего все таракашки
Растолстели, как барашки?»

Чижик

– Чижик, чижик, где ты был?
– У Катюши кофе пил,
С булкой, с маслом, с молоком
И с копченым языком.

А потом мы на шкапу
С ней плясали «ки-ка-пу»…
Ножки этак, так и сяк,
А животики – вот так.

А потом я на окне
Спел ей песню о весне:
Кот мурлыкал, пес ворчал,
Ветер шторку колыхал.

А потом, потом, потом
Дал коту я в глаз хвостом,
Поднял крылья, клюнул пса
И умчался в небеса!

Обстановочка

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастья полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,

Трагичным голосом взволнованно орет.

Безбровая сестра в облезлой кацавейке

Насилует простуженный рояль,

А за стеной жиличка-белошвейка

Поет романс: «Пойми мою печаль».

Как не понять? В столовой тараканы,

Оставя черствый хлеб, задумались слегка,

В буфете дребезжат сочувственно стаканы,

И сырость капает слезами с потолка.

Застенчивый таракан

На столике банка,
Под банкой стакан,
Под стаканом склянка,
В склянке таракан…

Ах, как ему не стыдно!
Не мил ему свет…
Все насквозь ведь видно,
А он – не одет…

Александр Блок

Впечатления Рейна

Рейн – чудесная река,
Хоть не очень широка.
Берега полны вином,
Полон пивом каждый дом,
Замки видны вдалеке,
Немки бродят налегке,
Ждут прекрасных женихов
И гоняют пастухов.
Скалы мрачные висят,
Немцы гадостью дымят,
Лерлей нежная сидит
И печально так глядит,
Как победная Денкмаль
Кулаком грозит французу
И Термаль пускает в Узу.

«Пойдем купить нарядов и подарков...»

Пойдем купить нарядов и подарков,
По улице гуляя городской.
Синеют васильки, алеют розы ярко,
Синеют васильки, люблю тебя, друг мой.

Вчера в мой дом Владычица явилась
В одежде, затканной прекрасно и чудно,
И, указав на складки, где таилось
Мое дитя, сказала: «Здесь оно».
Скорей идти я в город снарядилась
Купить наперсток, нитки, полотно.
Пойдем купить нарядов и подарков,
По улице гуляя городской.

Владычица! Я лентами цветными
Расшила колыбель обещанной Твоей,
Пусть бог дарит звездами золотыми,
А мне дитя всех звезд его милей!

«Что делать мне с полотнами большими?» —

«Приданое для дочери моей».

Синеют васильки, алеют розы ярко,

Синеют васильки, люблю тебя, друг мой.

Ей платье и убор приготовляя,

К реке спешите полотно обмыть,

Ее убор богато расшивая,

Хочу его цветами нарядить.

«Ребенка нет! Что делать? – Для меня я

Прошу вас полотняный саван сшить».

Пойдем купить нарядов и подарков,

По улице гуляя городской,

Синеют васильки, алеют розы ярко,

Синеют васильки, люблю тебя, друг мой.

«Права русского историю...»

Плевелы от пшеницы жезл
твердо отбивает,
Розга буйство из сердец
детских прогоняет.

Права русского историю
Уподоблю я громам,
Что мешают мне на взморье
Уходить по вечерам.

Впереди ж (душа раскисла!)
Ждет меня еще гроза:
Статистические числа,
Злые Кауфмана глаза...

Мая до двадцать второго
Не «исхичу я из тьмы»
Имя третьекурсового
Почитателя Козьмы.

Синий крест

Швейцар, поникнув головою,
Стоял у отпертых дверей,
Стучал ужасно булавою,
Просил на водку у гостей…

Его жена звалась Татьяна…
Читатель! С именем таким
Конец швейцарова романа
Давно мы с Пушкиным крестим.
Он знал ее еще девицей,
Когда, невинна и чиста,
Она чулки вязала спицей
Вблизи Аничкова моста.
Но мимо! Сей швейцар ненужный
Помехой служит для певца.
Пускай в дверях, главой недужной
Склонясь, стоит он до конца…

Итак… В гостиной пышной дома
Хозяйка – старая карга —

С законом светским незнакома,
Сидела, словно кочерга…
Вокруг сидели дамы кру́гом,
Мой взор на первую упал.
Я не хотел бы быть супругом
Ее… Такой я не видал
На всем пути моем недальном…
Но дале… Около стола,
Склонясь к нему лицом печальным,
Она сидела… и ждала…

Чего? Ждала ли окончанья,
Иль просто чаю, иль… Но вот
Зашевелилось заседанье:
В дверях явился бегемот…

Какого пола или званья —
Никто не мог бы отгадать…
Но на устах всего собранья
Легла уныния печать…

И заседанье долго длилось,
Лакеи чаю принесли,
И все присутствие напилось

Питьем китайския земли…
К чему ж пришли, читатель спросит.
К чему? Не мне давать ответ.
Девятый вал ладью выносит,
Уста сомкнулись, и поэт
Умолк… По-прежнему швейцара
На грудь ложилась голова…
Его жена в карете парой
С его кузеном убегла.

Трагедия в одном действии

Действующие лица

Местность
Время:
Незадолго до падения Вавилонской башни
Издание 1901 года
Боблово

Явление I

Он *(Читает газету. Отрываясь, через некоторое время)*

Пора сместить!

Молчание. Снова углубляется. Еще настойчивее:

Пора сместить!!

Она *(входя)*

Кого же?

Он безмолвен.
Она *(настойчивее)*

Кого же, милый мой?

Он

Да ну же, не мешай!

(Снова углубляется)
Она *(в сторону)*

Уж не министров ли? Но сколько и каких?

Ужели всех? Слыхала я когда-то,

Что некий был мудрец, который всех сместил,

Но заменить не мог, как ни старался.

Текли года, увяло государство,

Но он по-прежнему их заменить не мог.

Он *(снова разгоряченно)*

О! господи! Когда же наконец

Все это прекратится?

Она *(все вспоминая)*

А еще я помню:

Курсисток толпы в улицах смятенных,

Рыдая, шли… И пеплом посыпали

Главы свои в неистовстве великом.

Спросила я причину бед, но быстро
Ко мне подкрался полицейский мрачный,
И мнила я – мне казни не избегнуть,
Когда б не Клейгельс!

Он *(быстро отрываясь)*

Если б это имя,
Навеки стертое с страниц газетных,
Историком поругано, навеки
Ушло из памяти твоей!

Она *(наивно)*

А чем же
Не нравится тебе оно?.. Казалось
Всегда мне, что и в мире нету краше,
А ты его бранишь…

Он *(вставая грозно)*

Оставь мечты.
А то смотри, погибнем я и ты.

Уходит.
Она *(растерянно)*

О, как сердит он нынче… неспроста.

Должно быть, голова его пуста...

««Обыкновенная» сегодня в духе…»

«Обыкновенная» сегодня в духе:
Она сидит и думает о мухе.
(О чем и думать? – Но таков закон:
Когда у ней нет в мысли Рогачева —
Все остальное вовсе нездорово.)
Кто ж будет тот, кто назовется: «он»?

Сии строки, предполагавшиеся, пропущены недаром.
Хотя они и не были сочинены, но были нецензурны.

Censor scepticus.

«Прикорнувши под горою…»

Прикорнувши под горою,
Мистик молит о любви,
Но влеченье половое
Скептик чувствует в крови.
Как тут быть? Деревня близко,
А усадьба далека.
Грязью здешней одалиски
Не смутишь ты дурака.

Мистик в поле (экий дурень!)
Стосковался и заснул.
Скептик, ловок и мишурен (!),
В деревеньку заглянул.
Видит он – на сеновале
Дева юная храпит,
На узорном одеяле,
Распластавшися, лежит.

Правдивая история, или Вот что значит жить за границей! «Политический» памфлет, запрещенный в России

Когда я спал – ко мне явился дьявол
И говорит: «Я сделал все, что мог...»

К. Бальмонт

Посеял я двенадцать маков
На склоне голубой мечты.
Когда я спал – явился Яков
И молча вытащил цветы.
Меж тем, проснувшись, с длинной лейкой
Я вышел поливать цветник.
Хотя б один «листочек клейкий»
Оставил пакостный старик!
Я сел в беседке, роковому
Поступку не придав цены,
Решив, однако, к мировому
Его представить седины.

Бесстыдник чуял, что последствий
Он избежать уже не мог:
Он обронил в поспешном бегстве
Изящный носовой платок —
С своей неизгладимой меткой…
Но все загладить пожелав,

Следует обратить внимание на мастерскую игру слов.

Преступник встал перед беседкой
С «корнями неизвестных трав».

Из стихотворения Леонида Семенова.

Те травы, с моего согласья,
Он предложил мне посадить,
Прибавив: «Дочь мою, Настасью,
Пришлю сегодня же полить».
И я одобрил предложенье
Полупрезрительным кивком,
Настасья полила растенья,
Старик ушел с своим платком.
Когда взошла его крапива
(Я так и знал, хотя был строг!),

Старик, взойдя на холм, игриво
Сказал: «Я сделал все, что мог» —
И положил в карман спесиво
Изящно вышитый платок.

Запрещенный смысл этого стихотворения — политика любой державы.

Андрею Белому

«Опрокинут, канул в бездну»
Зинаидин грозный щит,
Ах! сражаться бесполезно
С той, которая ворчит.

Завтра буду с Соколовым
На извозчике – вдвоем!
Мы Семенова с Смирновым
И с Кондратьевым найдем!

Жду московского ответа
И еще – Вас самого,
Чтоб Вы видели поэта
Прежде гнусного портрета,
Коий будет снят с него.

«Если хочешь ты лимону…»

Если хочешь ты лимону,
Можешь кушать апельсин.
Если любишь Антигону,
То довольствуйся, мой сын,
Этой Феклой престарелой,
Что в стряпне понаторела.

Из Бодлэра

Посмотри на альбатроса,
Закуривши папиросу,
Как он реет над волной…
Повернись к нему спиной,
Чтоб в дыму от папиросы
Не чихали альбатросы.
Вон вдали идут матросы,
Неопрятны и курносы…
Затуши ее скорей,
А не то потухнуть ей
От дыхания матроса…
Не кури же папиросы…

Посвящаются Л. В. Ходскому, Н. И. Кауфману, К. Бальмонту

I. Л. В. Ходскому

Ты негодуешь справедливо,
Не приглашенный в Комитет!
Зато в Совете узришь живо,
Что эта роль тебе нейдет,
И, покраснев, уйдешь стыдливо
В давно желаемый буфет.

II. Н. И. Кауфману

...Но в тумане улицы длинной
Негодующий Кауфман идет.
Студент с головою повинной
Пред ним в незнаньи встает.
Из школы шитья и кройки
Глядят насмешливо вниз,
И печальны, и слишком бойки,
Опершись на звонкий карниз.
И глядят, глядят в упоеньи,

Как студенты, под гнетом числ,
Растерявшись, в полном смятеньи
Потеряли последний смысл.

III. К. Бальмонту

Он у окна съедал свои котлеты.
Взошла луна,
Когда съедал последние котлеты
Он у окна.
Он у стола, кончая караваи,
Тихонько ныл,
Когда кругом кричали попугаи
И ветер выл.
И смех его Грибовские хоромы
Не озарял,
И их гостям тоскующей истомы
Не прогонял.
Но из окна последние котлеты
Бросая вниз,
Он замарал тротуары и кареты
И весь карниз…

«Сижу за ширмой. У меня…»

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки…
Такие ручки у меня,
Такое темное окошко…
Тепло и темно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу…
Меня давно развлечься просят,
Но эти ручки… Я влюблен
В мою морщинистую кожу…
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу:
Не потревожу забытья,
Вот этих бликов на окошке…
И ручки скрещиваю я,
И также скрещиваю ножки.
Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь кто-то есть. Не надо свечки.
Глаза бездонны, как стекло.

На ручке сморщенной – колечки.

Николай Олейников

Муха

Я муху безумно любил!
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был,
Когда еще молод был я.

Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его —
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.

И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.

Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло.

Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлися толпой —

В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.

И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.

Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди…
О, муха! О, птичка моя!

Марина Цветаева

«Макс Волошин первый был…»

Макс Волошин первый был,
Нежно Майенку любил,
Предприимчивый Бальмонт
Звал с собой за горизонт,
Вячеслав Иванов сам
Пел над люлькой по часам:
Баю-баюшки-баю,
Баю Майенку мою.

Осип Мандельштам

«Свежо раскинулась сирень...»

Свежо раскинулась сирень,
Ужо распустятся левкои,
Обжора-жук ползет на пень,
И Жора мат получит вскоре.

Яйцо

Курицу яйцо учило:
Ты меня не так снесла,
Слишком криво положила,
Слишком мало берегла:
Недогрела и ушла, —
Как тебе не стыдно было?

«Есть разных хитростей у человека много...»

Есть разных хитростей у человека много,
И жажда денег их влечет к себе, как вол.
Кулак Пахом, чтоб не платить налога,
Наложницу себе завел!

«Это есть мадам Мария...»

Это есть мадам Мария —
Уголь есть почти что торф,
Но не каждая Мария
Может зваться Бенкендорф.

«Вуайажор арбуз украл…»

Вуайажор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
– Обжора! – закричал капрал. —
Ужо расправа будет скоро.

«Вы хотите быть игрушечной...»

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен Ваш завод,
К Вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

«Слышу, слышу ранний лед...»

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом

Неотвязных лебедей.

Газелла

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

«Спросили раз у воина…»

Спросили раз у воина:
– На Шипке все спокойно ли?
– Да, – отвечал он, – здесь на Шипке
Все признают свои ошибки.

«Один портной…»

Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? – портновской следуя манере,
С себя он мерку снял —
И до сих пор живой.

«Случайная небрежность иль ослышка...»

Случайная небрежность иль ослышка
Вредны уму, как толстяку аджика.
Сейчас пример мы приведем:
Один филолог,
Беседуя с невеждою вдвоем,
Употребил реченье «идиом».

И понадергали они друг другу челок!
Но виноват из двух друзей, конечно, тот,
Который услыхал оплошно: «идиот».

«Шапка, купленная в ГУМе…»

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад,
Под тобою, как игумен,
Я гляжу стариковат.

Решенье

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны покупал пирамидон, —
Купаясь в Ниле с ней или в храм идя,
Иль ужиная летом в пирамиде:
Для донны пирамид – пирамидон.

«Барон Эмиль хватает нож...»

Барон Эмиль хватает нож.
Барон Эмиль бежит к портрету...
Барон Эмиль, куда идешь?
Барон Эмиль, портрета нету!

«Однажды некогда какой-то подполковник...»

Однажды некогда какой-то подполковник,
Белогвардеец и любовник,
Постился, выводя глисту.
Дня три или четыре
Росинки маковой он не имел во рту.
Но величайший постник в мире
Лишь тот, кто натощак читает «На посту».

«Вполоборота, о, печаль…»

Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Надежда Тэффи

Четыре инженера

Скучала я, потупя взор,
Они ж вели свой разговор,
В один все повторяя тон:
«Цемент-бетон! Цемент-бетон!
Цемент-бетон! Цемент-бетон!»
Они в один твердили тон.

Я им сказала: «Господа!
Зачем же вы пришли сюда,
Коль смысл всей жизни заключен
Для вас в цемент, в цемент-бетон?
Коль смысл всей жизни заключен —
Для вас – в цемент, для вас – в бетон?..»

Их было четверо; из них
Никто не слышал слов моих,
Все продолжали в унисон
Хвалить цемент, хвалить бетон…
Цемент-бетон! Цемент-бетон
Они хвалили в унисон!

Мне нравится один из них,
Но он не знает чувств моих:
Он так глубоко погружен
В цемент-бетон, в цемент-бетон!
Он всей душою погружен
В цемент-бетон, в цемент-бетон!

Казалось – я не утерплю,
Скажу ему, как я люблю!
Быть может, позабудет он
Про свой цемент, про свой бетон;
Да, хоть на миг забудет он
Про свой цемент, про свой бетон!

Но нет! Я знаю – скажет он:
В своем я сердце не волен, —
Другой я страстью поглощен —
И эта страсть – цемент-бетон!
Цемент-бетон! Цемент-бетон!
Да, эта страсть – цемент-бетон!

Ах! если б мне поверил он,
Моим лобзаньем упоен,
Забыл бы он, как скучный сон,

И свой цемент, и свой бетон —
Забыл бы он, как скучный сон,
И свой цемент, и свой бетон!

Они ушли, и говор стих,
Но с той поры в ушах моих
Звучит, как похоронный звон:
«Цемент-бетон! Цемент-бетон!»

Звучит, как похоронный звон —
«Цемент-бетон!.. Цемент-бетон!!»

Гаданье

Ночь. Вдали от пированья
(Тише, сердце! Не стучи!)
Кто для таинства гаданья
Зажигает две свечи?

Зыбкий пламень озаряет
Стекла круглые очков,
О судьбе своей гадает
Перед зеркалом Гучков.

Замирает, как девица,
И робеет, и дрожит.
Таракан в углу дивится
На его смятенный вид.

«Кто-то, кто моя судьбина?
Дай мне, зеркало, ответ!
Из союза ли детина
Или чистенький кадет?

Молвить правду – за кадета
Я и очень бы не прочь,

Да ему и то и это —
До приданого охоч!

Аль сподручней за детину?
На идеи он не лих:
Знай купи себе резину,
И расходов никаких.

Скажут: «Вот поймали гуся!»
А что я в ответ скажу?
Все я, девушка, боюся,
Все робею, все дрожу!

Пламя вьется... Пламя зыбко
Озаряет тьму времен...
Где кадетская улыбка?
Где резиновый батон?..

«Мой черный карлик целовал мне ножки...»

Мой черный карлик целовал мне ножки,
Он был всегда так ловок и так мил!..
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил.

Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос...
Вотще ему я целовала ноги —
И сам ушел, и сундучок унес!

«У маменьки своей спросило раз дитя…»

У маменьки своей спросило раз дитя,
От робости смущаясь и краснея:
«Скажите мне всю правду, не шутя,
Отцом иль матерью – кем быть труднее?»

Молчала мать, не зная, что сказать,
Но гувернантка молвила беспечно:
«Давно тебе самой пора бы знать,
Что матерью труднее быть, конечно.

Когда бы ты историю прочла,
Тебе б ясна была тому причина:
Ведь папой в Риме женщина была,
*А мамой – ни один мужчина!»

Маленький диалог

– Мисс Дункан! К чему босячить,
Раз придумано трико?
Голой пяткой озадачить
Нашу публику легко!

– Резкий тон вы не смягчите ль,
Коль скажу вам a ton tour:
Танцевальный мой учитель
Шопенгауэр был Артур.

– Мисс Дункан! За вас обидно!
Говорю вам не в укор —
Шопенгауэр, очевидно,
Был прескверный канканер.